

Ф. М. Достоевский и наша критика

Современная буржуазная литература мобилизует все свои силы для того, чтобы испачкать, загрязнить все человеческое, доказать ничтожность, слабость, презренность самой человеческой природы. Человек низок и грязен по самому существу своему — вот подлый тезис, развешиваемый на все лады литературными агентами империалистической реакции. Они рисуют все человечество в виде жестоких, мерзких пачкунов, в каждом из которых прячется злой паук, преступник, убийца. Человечество нуждается в обуздании! — таков смысл той остревелой клеветы на человека, которая составляет в наши дни главное содержание зарубежной реакционной литературы. Она стремится растлить души, надавить волю к борьбе, оправдать дикое насилие владык буржуазного мира над народами. Между прогрессивной и реакционной литературой идет упорная, непримиримая борьба за человека. Прогрессивный лагерь возглавляет наша советская литература.

Какую роль в этой сегодняшней борьбе играет творчество Достоевского? В каком лагере оказывается Достоевский в наши дни?

На этот вопрос наша критика обязана дать ясный, недвусмысленный ответ. Так же, как и при своей жизни, Достоевский и сейчас оказывается в авангарде реакции. Его произведения широко и всесторонне используются в остревелом походе на человека, предпринятом литературными лакеями Уолл-стрит. И это вполне понятно, потому что всю мощь своего таланта Достоевский израсходовал на доказательство ничтожности, слабости, изменности человеческой природы.

Горький писал о Достоевском: «Он чувствует себя как бы глашатаем неких темных и враждебных человеку сил, он постоянно указывает на разрушительные стремления человека, который ищет главным образом полной личной свободы, требует, чтобы за ним было признано право всем пользоваться, всем наслаждаться, не подчиняясь ничему».

Достоевский провозглашал «абсолютные», как ему представлялось, «законы» природы человека и прежде всего — «закон» тяготения к жестокости и мерзости, более сильного, чем тяготение к добру и красоте. Один из самых любимых героев Достоевского — Митенька Карамазов — так характеризует себя:

«Любил разврат, любил и срам разврата, любил жестокость: разве я не клоп, не злое насекомое?» И вместе с тем, тот же Митенька оказывается «благороднейшим человеком». Его возлюбленная, Грушенька, говорит ему:

«Я знаю, ты хоть и зверь, а ты благородный».

В каждом человеке сидит злое насекомое, «мерзкая фаланга», тарантул, и если дать волю человеку, он разрушит и осквернит все на свете.

Достоевский не верил в человеческий разум, волю. Если дать свободу человеческому разуму, то он неизбежно оправдает карамазовское «все позволено» — на котором впоследствии Ницше построил свою теорию «сверхчеловека». Потому-то и необходим высший авторитет — религия. Без «страха божьего», без религиозной узды жизнь человечества представлялась Достоевскому невозможной. И чтобы внушить эту мысль читателю, он делал все, что мог, для обоснования якобы «вечного» присущего людям, кто бы они ни были, стремления к мучительству, разрушению, жестокости. В процитированных словах Митеньки Карамазова следует обратить внимание на характерный для героев Достоевского оборот: Митенька не говорит, что он бывал жесток; нет, он говорит, что любил жестокость. Герои Достоевского именно любят зло, жестокость, мучительство, они не могут жить без этого. Их неудержимо тянет к преступлению, к насилию над слабыми, над детьми. Ничего не поделаешь, таков человек! — говорит — вернее, кричит! — Достоевский всем своим творчеством. Надо обладать человеком религиозным, страдающим, покорностью, смиренностью. Только в страдании может очиститься человек. Вот главная мысль Достоевского, ей посвящены все наиболее значительные его произведения.

Салтыков-Щедрин видел в Достоевском именно и прежде всего фанатика обуздания людей. В предисловии к «Благонамеренным речам» великий сатирик полемизировал с Достоевским, говоря о типах «обуздателей»:

«Глуны искренние суть те утонченные обуздания, перед которыми содрогается даже современная, освоившаяся с лганьем действительность. Это чудовища, которые лгут не потому, чтобы имели умысел вводить в заблуждение, а потому, что не хотят знать ни свидетельства истории, ни свидетельства современности, которые ежель и видят факт, то признают в нем не факт, а каприз человеческого своеволия... Это урюкие люди, никогда не покидающие марева, созданного их воображением, и с неумолимо последовательностью проводящие это марево в действительность».

Горький подкреплял эту оценку, подчеркивая, что Достоевского можно отлично представить в роли средневекового инквизитора, карающего людей за извечные «грехи».

Для Достоевского изображение страшного в жизни — в том числе самого страшного: издевательства над детьми, — было аргументом в споре, доказательством бессмысленности каких бы то ни было попыток разумного, революционного изменения действительности. Человек «по природе» своей мучитель, он «любит» истязать детей, мучить слабых, и поэтому он должен жить в смиренности, всему подчиняться, во всем «сострадать», вечно чувствовать вину свою перед всем живым и мертвым. Вот что говорил об этом Достоевский в своем «Дневнике писателя»:

«...понятно... что зло таится в человечестве глубже, чем полагают лекаря — социальности, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая остается та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой».

В «Беседах о ремесле» Горький рассказывал о первых годах своего писательского пути:

«Пассивную роль я считал недостойной литературы, мне известно было: если «рожа» — крива, пеняют на зеркала, и я уже догадывался: «рожи кривы» не потому, что желают быть кривыми, а оттого, что в жизни действует некая всех и все уродующая сила, и «отражать» нужно ее, а не искривленных ею».

Если употребить терминологию, примененную Горьким, то придется признать, что Достоевский стремился своими произведениями и публицистикой обосновать то самое, против чего возражал Горький: Достоевский изо всех сил хотел доказать, что «рожи кривы» именно потому, что желают быть кривыми. Он отрывал изображаемые им в таком изобилии факты мучительства, жестокости, человеческого уродства от той силы, которая действовала в жизни и уродовала всех и все; он объяснял эти факты

не как следствие уродливой социальной действительности, а как свойство души человеческой. С этим связан и субъективно-психологический метод его творчества, порывавший с реалистическими традициями и расчищавший путь для последующего декадана.



Патологические особенности произведений Достоевского, его отход от традиций реалистической, — или, как тогда говорили, «натуральной» — школы русской литературы, с поразительной проникновенностью угадывали наши революционно-демократические критики. Белинский почувствовал это уже в «Двойнике», а Добролюбов — в «Униженных и оскорбленных».

Сущность романа «Униженные и оскорбленные» Добролюбов видел не столько в «гуманности», не столько в несомненном сочувствии Достоевского к униженным и оскорбленным, сколько в изображении типа злодея (князь Валковский, из которого, как мы знаем, развилась впоследствии более сложные злодейские типы Достоевского). Добролюбов писал, что «основу романа, зерно его, составляет именно воспроизведение характера этого князя. Но, всматриваясь в изображение этого характера, вы найдете с любовью обрисованное сплошное безобразие, собрание злодейских и цинических черт... Оттого вы не можете ни почувствовать сожаления к этой личности, ни возненавидеть ее той высшей ненавистью, которая направляется уже не против личности собственно, но против типа, против известного разряда явлений... Как и что делало князя таким, как он есть?.. если у него душа совсем вынута, то каким образом и при каких обстоятельствах произошел этот любопытный процесс?.. Мы знаем, например, как Чичиков и Плюшкин дошли до своего настоящего характера, даже отчасти знаем, как обленился Илья Ильич Обломов... Но г. Достоевский этим требованием пренебрег совершенно» (подчеркнуто мною — В. Е.).

Итак, Достоевский пренебрег основным требованием реализма: социальным объяснением типов и явлений, которое характеризовало творчество и Гоголя, и Гончарова, и других писателей-реалистов. Поэтому Достоевский не дал обобщения, реалистического образа социального зла. Выдавая извечную, не зависящую ни от каких реальных социальных условий, ни от каких действующих в жизни сил, — «душу человеческую», как первоисточник всякого греха и зла, Достоевский не мог вызвать у читателя в отношении к злодею, князю Валковскому, «любящему жестокость», той высшей ненависти, которая направляется против целых классов, против общих реальных, социальных причин «зла». Исключительно важно также замечание Добролюбова о том, что Достоевский с любовью рисует безобразия, что он сам, в сущности, любит зло.

Добролюбов предсказал все главные пороки произведений Достоевского, развернувшиеся после «Униженных и оскорбленных». Образ князя Валковского впоследствии усложнился: Валковский стал Ставругиным, Версиловым. И этих садистов, мерзавцев, растлителей, духовных провокаторов, двурешников Достоевский тоже обрисовывал с любовью, сознательно стремясь к тому, чтобы, — как писал он в своих записках, — эти типы были для читателя «к отвратительным, и обязательным».

Плоская критика, кормящаяся манной кашей неопределенного либерального «гуманизма», любит окрашивать всякое художественное изображение страдания, унижения, оскорбления, мучительства сплошной розовой красочкой «сочувствия» и «любви» к людям. Но далеко не всякая картина боли и мучительства гуманистична: она может быть и антигуманистичной, если в ней поэтизируется страдание, или звучит мотив соблазнительности мучительства, или, наконец, если тема ужаса, боли, унижения используется для запугивания людей, для проповеди смиренности, для доказательства греховности и ничтожности человека. Горький глубоко ненавидел и разоблачал в своих произведениях «проповедников» двух типов: «утешителей», обманщиков вроде Луки и христианско-юрдистающих «разоблачителей», спекулирующих на язвах, муках, на слезинке ребенка для внушения людям страха перед мрачными «тайнами» человеческой души.

Между тем, некоторые советские критики после Белинского, после Добролюбова, после Щедрина, после Горького все еще по-либеральному воспевают «гуманизм» Достоевского, его «веру в человека», доказывая, что Достоевский был таким же реалистом, как Пушкин, Гоголь, Толстой, что он «социально детерминировал» все переживания и поступки своих героев, что он был «социалистом», мечтал об осуществлении социалистических идеалов на земле и т. д. А именно к этому сводятся концепции вышедших недавно трех работ: «Ф. М. Достоевский», «Молодой Достоевский» В. Кирпотина и «В творческой лаборатории Достоевского» А. Долинна. Для того чтобы убедиться, как далеко ушли назад от просветительской, революционно-демократической критики эти советские исследователи, достаточно хотя бы сопоставить приведенные выше замечания Добролюбова о романе «Униженные и оскорбленные» со следующим рассуждением об этом же романе В. Кирпотина: «Картины жестокости, грубости и зла, с которыми столкнулся Достоевский на каторге, заставили его пристально всмотреться в природу человека, но они не поколебали его веры в нее. Отвержение — не сущность, а искажение природы человека. Гуманизм Достоевского, возросший и окрепший в идеологической атмосфере сорочковых голов, выдержал испытание каторгой... «Униженные и оскорбленные» замечательны еще своими резкими антикапиталистическими настроениями. Зло олицетворено в этом романе в образе князя Валковского, а демон, владеющий Валковским, толкающий его на жестокость и преступление, — это деньги... Сознание нравственной ответственности за социальное неустройство мира веет со страниц его романа... Достоевский будил жалость, но в ответ пробуждал гнев. «Униженные и оскорбленные» порождены были музой печали, но воспринимались они так, как произведение «музы печали и мести...» (В. Кирпотин, «Ф. М. Достоевский», «Советский писатель», 1947, стр. 24—25—26).

Добролюбов говорит, что в романе Достоевского нет социального обобщения, социальных причин «зла», а есть, наоборот, любовное зло, смакование «безобразия», а Кирпотин утверждает, что зло, олицетворенное в князе Валковском, имеет у Достоевского социальное объяснение. Добролюбов указывает, что роман не вызывает высшей ненависти к зло, как к порождению социального неустройства, — а Кирпотин заверяет нас в том, что зло, изображенное в романе, вызывает гнев против «социального неустройства». Добролюбов отмечает «совершенное пренебрежение» Достоевского основным законом реализма — социальным объяснением явлений, — а Кирпотин заявляет, что «реалист» Достоевский оказался до конца жизни» («Ф. М. Достоевский», стр. 62).

В творчестве Достоевского сильные и слабые стороны настолько срослись, переплелись между собой, что необходим самый тщательный, скрупулезный научный анализ для того, чтобы попытаться отделить одно от другого.

Достоевский, несомненно, выразил страх патриархального, эталого, реакционного мешанства перед победоносным шествием капитализма в России, с его новыми, волчьиими законами жизни, Ломалась, трещала по всем швам патриархальная Россия. Человек, от имени которого говорил Достоевский, оказывался всецело предоставленным самому себе в новой, непонятной для него, страшной действительности. Маленький чиновник, захудалый дворянин, брошенный в капиталистический водоворот и испытывающий бедствия декламации, разношнеч, оторванный от жизни народа, от народных идеалов, — этот герой произведений Достоевского сгибался под двойной тяжестью: его угнетали и крепостнические порядки, полный произвол «начальствующих», и рост новых капиталистических отношений. Зверинья сущность новых законов жизни обнажалась перед ним, а победа демократии, роль и значение рабочего класса, то, что неслыханно, смутно, но все же вырисовывалось в перспективе будущего перед духовным взором наиболее прозорливых представителей лагеря революционной демократии, — все это только ужасало и героя Достоевского, и его самого. «Язва пролетариата» представлялась Достоевскому столь же ужасной, как и сам капитализм. Более того: самые антикапиталистические настроения Достоевского усиливались именно его страхом перед грядущей пролетарской революцией. Наблюдая жизнь Запада, Достоевский хорошо понимал, что капитализм чреват пролетарской революцией, и его ненависть к буржуа, его страх перед ужасами и соблазнами капиталистического хищничества, «своеволия» одичавшей буржуазной личности, оказывались вместе с тем и ненавистью к революционному рабочему классу, к социализму, страхом перед пролетарской революцией. Так, отражая, — хотя и искаженно, — реальные исторические процессы и противоречия, реальные ужасы капитализма, — Достоевский вместе с тем клеветал на все переловое, честное, революционное.

Если Белинский догадывался об относительной прогрессивности капиталистического пути, то Достоевский, изменив лагерю Белинского в своем «зачьем» ужасе перед потрясениями, катаклизмами, классовой борьбой, в своей бешеной, яростной ненависти ко всему прогрессивному, — встал на путь реакционнойнейшей антикапиталистической утопии. Пытаясь повернуть историю вспять, он превратился в яростного защитника триединой формулы: «православие, самодержавие, народность». Идеализируя все косное, отсталое в жизни страны, Достоевский идеализировал и реакционные предрассудки крестьянства, веру в царя и в боженьку, противопоставляя это «гордые» революционной интеллигенции. Так возникло его «почвенничество», его судорожная вера в то, что Россия «спасет мир» от пролетарской революции, «отказавшись» от капиталистического пути.

Достоевский сделал своей специальностью самую гнусную клевету на революционеров. Рисуя буржуазных отщепенцев вроде Раскольникова, он стремится — вопреки фактам, здравому смыслу, истории — представить их как революционеров, социалистов, атеистов. Вместе с тем, буржуазное хищничество, своеволие, жестокость не только ужасали Достоевского, но и неудержимо влекли к себе, манили, соблазняли. Отсюда его смакование преступления, душевного и всяческого разврата, самой отвратительной грязи, предательства, провокации. Идея «сверхчеловека», которому «все позволено», — любовь мерзости, любви насилье, — эта идея гипнотизировала, влекла к себе Достоевского и его героев, с их неустойчивостью, отсутствием моральных норм, опустошенностью, чуждостью народу. Недаром Ницше, многому научившийся у автора «Преступления и наказания», называл его своим «великим учителем». «Две бездны», — ужас перед злом и неудержимое тяготение к нему, — раздвоенность психики, создавшая основу для аплогит предательства, являлась одной из главных черт личности и самого Достоевского и его героев.



Критики, идеализирующие Достоевского, хотят уверить нас в том, что он всю свою жизнь сочувствовал социализму и даже грядущей пролетарской революции. Мы знаем, что Достоевский готовил России особую «миссию»: спасение от пролетарской революции и от ужасов капитализма на путях «единения царя с народом». Эту мысль высказывал Достоевский и в своей пушкинской речи, обращаясь к революционной интеллигенции с призывом: «Смирись, гордый человек!» В. Кирпотин же утверждает, что «спрочество» Достоевского «о всемирно-учительской миссии русского народа» носило революционный характер. «В свете прожитого нами исторического опыта, — пишет В. Кирпотин, — мы не можем не признать, что «спрочество» Достоевского по рациональному своему содержанию перекладывает пророчество Белинского и является смутным предчувствием перенесения центра тяжести борьбы за социализм на нашу родину, смутным предвидением, что Россия поведет за собой другие народы по пути и социального и национального братства» («Ф. М. Достоевский», стр. 61).

Отожествляя гордую мечту Белинского о революционной, демократической, социалистической России, стоящей во главе передового, прогрессивного человечества, с реакционно-утопической надеждой Достоевского на то, что Россия «спасет мир» не только от капитализма, но и от революции и от социализма, — это означает такое приращение Белинского и такое «возвышение», идеализацию Достоевского, до которого не доходила даже и самая плоская либеральная критика.

На протяжении всей своей работы «Молодой Достоевский» В. Кирпотин доказывает чуть не полное тождество взглядов Белинского и Достоевского вплоть до конца сороковых годов, не придавая серьезно значения тому горькому разочарованию, какое вызвал у Белинского «Двойник». С оговорками, поправками, смягчениями Кирпотин говорит о том, что в «Двойнике» выразилось колебание Достоевского в его отношении к человеку — в то время как «Двойник» представлял собою выражение неверия Достоевского в человека. Уже одно это — разочарование Белинского в связи с «Двойником» — опровергает версию В. Кирпотина о том, что Белинский и Достоевский являлись единомышленниками на протяжении сороковых годов. В Кирпотин глухой стеной отгородил молодого Достоевского от Достоевского второго и третьего периодов. А между тем, последующее ренегатство Достоевского содержалось в зародыше уже и в «Двойнике», и в «Хозяйке», и в «Неточке Незвановой». На эту ошибку В. Кирпотина верно указал Р. Уралов в своей рецензии, напечатанной в «Литературной газете» (№ 58, 1947). Но в целом эта рецензия носит явно апологетический характер по отношению к книге В. Кирпо-

тина, и напечатание ее является грубой ошибкой «Литературной газеты». Точно так же грубой ошибкой является захваливание книги В. Кирпотина «Молодой Достоевский» в ряде выступлений тов. А. Фадеева.

Книга А. Долинна «В творческой лаборатории Достоевского» представляет собою сплошную апологику. Маскируя оговорками о враждебности Достоевского революции, Долинна на деле несколько более изощренно, чем в прежних своих работах, развивает легенду о Достоевском — революционере и социалисте. В новой своей книге Долинна прямо ссылается на свои прежние работы, например, на вводную статью к сборнику «Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования» (изд. Академии наук СССР, Липр., 1935 г.). А ведь в этой статье Долинна приложил ленинскую оценку Л. Толстого к Достоевскому и объявил Достоевского, как идеолога мелкой буржуазии, более революционным, чем Толстой. В новой книге А. Долинна изображает Достоевского сторонником... Парижской Коммуны! Без всяких к тому оснований А. Долинна заявляет, что Достоевский был «глубоко опечален тем, что опыт построения «хрустального царства на земле», стоивший таких колоссальных жертв, не удался» («В творческой лаборатории», стр. 10). И тут же, в трагикомическом противоречии с этим своим утверждением, А. Долинна приводит на следующей странице своей книги запись Достоевского — проект его будущего произведения: «Фантастический поэма-роман. Будущее общество, коммуна, востание в Париже, победа, 200 миллионов голов, страшные язвы, разврат, истребление искусства, библиотек, замученный ребенок. Споры, беззаконие. Смерть». Мы видим, какой черный замысел созрел у Достоевского; вот, дескать, что было бы, если бы победила Парижская Коммуна. По Долинну же выходит, что Достоевский был «глубоко опечален» тем, что эти перспективы не осуществились. Может ли быть более грубая фальшь? Впрочем, оказывается, может!

Пересказывая и цитируя записи Достоевского к роману «Подорож», А. Долинна так рисует мысли и настроения Достоевского: «Революция близка и тревожная, как судьба, которая неизменно ожидает человечество. Революция обязательно кончится победой четвертого сословия: «уже предвидели», — разумеется, конечно, Парижская Коммуна». «Вам, — говорит он (Версилов, — В. Е.). Подорожнику, — вам, т. е. молодежи, надо готовиться, ибо вы будете участниками; время близко при дверях и, именно тогда, кажется, так крепки миллионные армии, разрывные бомбы».

«Миллионные армии, разрывные бомбы», — комментирует А. Долинна, — ничто не поможет удержаться старому строю. Это уже язык не отвлеченно теоретический, а язык реальной действительности в ее острой классовой борьбе. Еще один шаг — и тема «социальной» появится в романе так, как она мыслится и ставилась в условиях русской общественной жизни того времени» (там же, стр. 50—51).

Но ведь Достоевский запугивает читателя перспективой революции, ехидствует над непрочностью капиталистического общества, противопоставляя ему свой идеал избежавшей и капитализма, и революции, — «тихой» патриархальной России с батюшкой-царем, православной церковью, Победоносцевым и всеми прочими излюбленными своими аксессуарами! А советский исследователь Долинна, курам на смех, приписывает Достоевскому «язык классовой борьбы» и намекает, что, дескать, «еще один шаг» — и Достоевский приблизится к самой что ни на есть передовой русской общественной мысли того времени.

Для «возвышения» Достоевского Долинна ничего не стоит признать одного из передовых русских революционно-демократических писателей и мыслителей — Герцена (как, впрочем, — увы! — и тов. В. Кирпотин, сам того не приметив, принял революционную мечту Белинского до уровня реакционно-утопической мечты Достоевского). Крах Парижской Коммуны, — уверяет нас А. Долинна, — был воспринят Достоевским «в такой же мере трагически, в какой восприняты были Герценом события 48-го года». Герцен, который с горечью переживал крах иллюзии «надклассового» буржуазного демократизма, Герцен, чьи трагические переживания были, — как объяснил Ленин, — формой перехода к суровой, непреклонной, непоколебимой классовой борьбе пролетариата, — и Достоевский, со злорадством «переживающий» крах Парижской Коммуны, — факты совершенно не сопоставляемые, несоизмеримые, оказываются, в изображении Долинна, тождественными!

Всем нашим исследователям и критикам, работавшим над творчеством Достоевского, необходимо многое пересмотреть в своих оценках, отказаться от либерального сахара, чтобы продвинуть вперед марксистско-ленинское изучение сложного, противоречивого, крупного писателя, поставившего немало острых социальных проблем, в том числе проблему «углов», трущоб, язв капиталистического города, — но поставившего эти проблемы неверно, на основе ложной, реакционной идеологии и субъективно-психологического художественного метода, порывавшего с рядом важнейших реалистических традиций русской литературы.

Критика и самокритика прежних работ о Достоевском необходима в свете реальной социальной практики сегодняшнего дня, когда творчество Достоевского, особенно активно служит на потребу мировой реакции*.

Суровая, беспощадная критика всего неправильного, традиционно-«либерального» в оценке Достоевского — насущная задача нашего литературоведения.

* В частности, автор этих строк в своей работе «Горький и Достоевский» (журнал «Красная Новь», 1939 г., №№ 4 и 5—6), развивая ту же самую концепцию творчества Ф. М. Достоевского, которая выражена и в настоящей статье, допустил неопределенности, отступления от этой концепции и в названной работе и в некоторых других статьях.